

Критика. Публицистика

### **Глоток ключевой воды**

2000 год принес и эту трагичную весть: погиб и навсегда остался в XX веке русский писатель Дмитрий Балашов - член редколлегии нашего журнала, новгородец, осуществлявший на пару с критиком Валентином Курбатовым из Пскова связь нашего издания с Европой. Пылкий монархист, певец государей Московских был убит в ночь с 16 на 17 июля - в годовщину убийства последнего правителя из династии Романовых - государя-императора Николая Второго и членов его семьи. Убийство, совершенное с особой жестокостью, тем ужаснее, что приписывается оно сыну писателя. В этой кровавой жертве будто воскресли и воплотились страницы из очередного исторического романа Дмитрия Балашова. Всё промыслительно в этом мире, и такая смерть - тоже. О ней много писали в те июльские дни, много рассказывали, не жалея ТВ-ленты, забыв, что необыкновенной смерти предшествовала необыкновенная жизнь человека незаурядного, который успел сделать очень много.

Дмитрий Балашов занимался фольклором и этнографией, работал в исторических архивах, путешествовал, писал романы, создавал скульптуры, рубил дома. Выходец из питерской артистической среды, он жил, как крестьянин, на земле, жил родной землей, набираясь у нее сил. Читатели нашего журнала хорошо помнят документальный путевой очерк Дмитрия Балашова о Сербии «Любовь» («НиС» №4), написанный задолго до варварских бомбардировок Сербии и увидевший свет уже после них. Любовью отозвался он в сердцах читателей и здесь, в Сибири, и там, в далекой Сербии, в среде русских эмигрантов. Дмитрий Михайлович очень хотел побывать у нас в Сибири, но тяжелое материальное положение так и не позволило осуществить эту мечту.

Именно так: известный писатель, совершивший гражданский подвиг, воссоздавший в девятитомной эпопее «Государи Московские» историю самого сложного периода государства Российского, произведения которого изданы тиражом более 20 миллионов экземпляров, жил почти все время в нужде. В январе 2000 года его друзья создали в Великом Новгороде фонд в поддержку Дмитрия Балашова, но так и не собрали в него ни рубля. Деньги найдутся потом. На похороны. Трижды выдвигали Дмитрия Балашова на Государственную премию как писателя, ученого, филолога, историка, и трижды замечательные его труды игнорировались. Писатель, постоянно твердивший об огромной ответственности власти перед страной и народом, не был любим ни коммунистическими властями, ни властями «демократическими». Известна резолюция, которую начертал в апреле 2000 года на прошении депутатов Госдумы о персональной пенсии Дмитрию Балашову новгородский губернатор Михаил Прусак: «Согласен помочь Балашову. Но чем?»

Зато читатели, которым дорога история государства Российского, любят и знают романы Балашова «Марфа Посадница», «Бремя власти», «Младший сын», «Великий стол», его эпопею о государях Московских... Позволим привести одно письмо из нашей читательской почты, которое пришло в адрес Дмитрия Михайловича из Хакасии. В нем - голос народа, его любовь, его признание. «Дорогая редакция! Я очень люблю книги Дмитрия Балашова. Прочитал цикл его исторических романов о государях Руси Великой, но нигде не могу достать «Святую Русь» и «Куликово поле». Не могли бы вы сообщить его адрес для переписки? Он из тех писателей, кто может достучаться до наших сердец, кому небезразлична судьба народа. Конечно, просить адрес нескромно, кто я такой? Но в наше время книги Дмитрия Михайловича - ключевая вода, холодная, чистая, освежающая, и мне, грешному, хочется пить и пить, припав к этому источнику. С сим кланяюсь - Александр Туртугешев, деревня Н-Сиры Таштыпского района».

Писатель любим сейчас миллионами читателей, но думается, что время

Дмитрия Балашова еще придет, и этот великий труженик будет востребован как никто другой, когда наступит пора национального самосознания России, когда многие захотят испить ключевой воды, холодной и чистой. Три года тому назад писатель, словно предчувствуя конец, передал в новгородский архив новейшей истории 42 коробки с неизданными материалами. Часть неизданных произведений, которые отказались печатать в самые разные периоды его жизни, Дмитрий Михайлович прислал в адрес нашего журнала. И эти размышления о Викторе Петровиче Астафьеве времен травли нашего земляка за его «Ловлю пескарей», которые мы предлагаем вашему вниманию, - тоже. Сейчас Астафьева не травят, но по-прежнему бьют, а обвинения на удивление очень похожи на обвинения времен застоя. Значит, не во временах дело, а в нас, в том, какое семя возвращаем мы в сердца наших. Пусть эта посмертная публикация статьи Дмитрия Балашова станет для нас его завещанием. Нам стоит к нему прислушаться, ибо этот писатель, несмотря на трагичную его гибель, все равно ушел из жизни победителем. Открытые им источники с чистой ключевой водой остались. И это - победа, победа русского духовного оружия. Вечная ему память.

Редакционная коллегия журнала «Новое и старое»

Дмитрий БАЛАШОВ

## Три рассказа Астафьева

Из неопубликованного

Уровень таланта есть столь же недоказуемое, хотя и самоочевидное явление, как и бытие Божие по учению древних богословов.

Своеобразие композиции языкового строя, как и оригинальный набор эпитетов, можно, при желании, найти у автора любого уровня, ибо и бездарность объясняется словами! А вот талант, это - как вспышка во тьме. Помню свое ощущение, когда я, разбирая стопу одноактных пьес для самодеятельности, нашел случайно затесавшийся сюда лист из “Горя от ума” и прочел его машинально, еще не догадываясь, что именно передо мною. Но почуял враз, что всё читанное только что, словно нечисть из гоголевского “Вия”, с визгом и воем шарахнуло в окна, и лишь потом, в следующую секунду, сообразил, что передо мною — Грибоедов, а одноактная темень, замирая в смертной истоме, билась ножками, повизгивая и угасая, где-то на задворках сознания.

Вот такую “световую вспышку”, невольное ощущение художественного чуда испытал я, приступив, после прочтения совсем неплохой современной повести к трем рассказам Астафьева, объединенным единою темой и даже названием единым: “Место действия” (“Наш современник”. 1986. №5. В. Астафьев. Место действия. Рассказы “Светопреставление”. “Слепой рыбак”. “Ловля пескарей в Грузии”). Хотя и сам даже растерялся поначалу, ибо враз понять колдовство астафьевского слова не сумел. Вроде бы и тема уже, чем в его же, например, “Печальном детективе” (на первый, поверхностный взгляд), и слог... Ну, слог! Да что, в сущности, слог?! Ну, астафьевская, уже на всю страну знаменитая, рыбалка... И, конечно же, ощущение таланта! Оно — как солнечный луч в ненастный

день, всё загорается при нем ярче, острее, виднее... Но пока, спервоначалу, мы еще не видим, не чуем, что и проблематика тут глубже, запредельнее, ибо талант — это всегда (так на Руси, во всяком случае!) не только форма, но прежде всего большая глубина содержания.

Скажем сразу, что три астафьевских рассказа соединены тут не случайно, что их связь образует некое нерасторжимое единство, как тема, так и течения образности. Почему и можно, и нужно их рассматривать как нечто целое, пронизанное не только единством авторского мироощущения, но и единством идеи, и даже единством темы, по сути говоря.

Сначала — яркий, веселый, на грани балагурства рыбацкий треп. Следуют “категории” рыбаков: аккуратного, прижимисто-скуповатого мужика — вологжанина, у которого все пригнано и прилажено, но зато попробуй попроси у него наживки, руки будут трястись от скупости; а рядом — размашисто-щедрых работяг-литейщиков. Но не спешите! Тут же и вскрывается основа этой щедрости, коренящейся в безалаберности существования полупьяного блатняка, неоднократно сидевшего, испещренного надписями и рисунками по коже, “перемолотого” лагерем, незаботного не только к своей, но и к чужой собственности.

Но вот и еще тип: рыбак-горожанин, москвич, почти аристократ (немного не хватает до “уровня”! “Ему бы только инвентаря культурного да средств поприбавить, так уж и дворянином бы себя почел”), нацелившийся на остатки деревенской старинной утвари, собиратель “модных” икон, вносящий разлад и склоку в семью приютившую его черепянина, пресыщенно “снисходящий” к “местному колориту”: — “Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене, то там...”

Полстраницы, а всунуто, рассказано — на тома хватит! И о семье, и о

жене, о квартире, о разноликости столичного москвича, тут же и сопоставленного со знаменитым ершом-ершовичем...

Ну и до чего же колоритен этот Кеша-Короб, вологодский рыбак с его филиппикой противу женщин, забросивших свое семейное назначение в погоне за рыбалкой, древним мужским занятием:

—... “Она же, курва, детей бросила, мужа бросила, квартиру немытой оставила, обед неваренный, одежда не стирается... Дети без надзорности фулюганами делаются, пьют, режутся. Полны колонии преступников, полны города и поселки алкоголиков, воров, обчество погибает, международная обстановка неясная, а она вместо того, чтоб охранять этот... как его? А, опать, забыл. Слово-то старо. А-а, очаг! Вместо того, чтоб очаг охранять, она рыбачить! Это мы куда идем-то?..”

Тут же, несколькими строками выше, дан и портрет Кеши-Короба, невысокого росточком: “Лицо его, изветренное, измороженное, напоминало растоптанную консервную банку из-под червей, спереду, с жерла, — все узко сплюснуто и вытянуто; сзади, “со дна”, — стриженный под бокс затылок без всякого изгиба катко уходил под взъерошенный башлык плаща”.

Я нарочно цитирую этот портрет, чтобы показать суть художественной манеры, подхода, весело-острого, на грани насмешки. Не просто стилия, но и замысла, это та грань, которая заставляет встрепенуться, вздрогнуть, не дает проминовать мимо образа.

Говоря “высоким штилем”, это тот самый Ювеналов бич, но бич не сатиры, а смеха, против коего и рожна не найдешь. Тут все оказываются разоблаченными и все по-своему не правы (но и правы!), ибо... Ибо для автора важна, скажем сразу, не частность, хотя бы и крупная, а общее

состояние общества, которое уже дошло до той степени, когда возможно стало и приблизилось светопреставление.

В диковинной, новонародившейся хищной рыбине, берше, выловленной Кешей-Коробом, явила себя природа, готовая отворотить свое лицо от человека. (О многократно перегороженных, отравленных удобрениями реках, превращенных в “водоемы”, от коих разбежалось все живое, уже сказано, походя, но с тою же астафьевскою яркостью во вступлении к рассказу).

И этот вот рыбак без затылка, с лицом, похожим на измятую жестянку (с такой внешностью в герои ну уж никак нельзя!), он соображает, чувствует, схватывает грозную суть явления, кричит от ужаса... А горожанин спокоен. У него — информация. Он знает и похуже, бестрепетно рассказывая тут же про того ротана, который живет в мазуте и жрет резину, и — давит берша ногой. А тот, третий, он просто берет и съедает берша (вкусно! — говорит назавтра). И остается взгляд берша, говорящий людям: “Жрите, жрите! Сегодня вы нас, завтра — мы вас!”

Так, на частном примере, автор взглядывает в глубь общественной пирамиды и видит ту гниль, от которой, нарастая, движет на нас лавинообразно светопреставление.

Тут и незамутненное самодовольство горожанина-москвича, полностью утратившего святое чувство ответственности перед народом, присущее его предку — интеллигенту конца прошлого столетия. Тут и “конченность” забулдыги-работяги, и эта надпись, получающая неожиданно новое значение: — “Дедушка Калинин, век меня мотать, отпусти на волю, не буду воровать” — выколота на груди много спустя уже и после смерти Калинина, как явление тюремной жизни, естественной для этого расписанного надписями и

рисунками россиянина. Ну и — скопидомная жадность оттесняемого, испуганного, замкнувшегося в себе деревенского жителя, от бедности и страха, не от богатства, увы! сделавшегося куркулем.

Легко было бы изменить и исправить то, что вне нас самих. Куда труднее выгнать болезнь из глубины собственного “я”, излечиться духовно больной нации, но только тут, только на этом пути мы и можем еще спастись.

Второй рассказ “Слепой рыбак” имеет два плана. Сам этот слепой, почти что и не бывший на фронте инвалид, его осатанелая низкозадая баба; разоренная, обезлюженная земля и — Пасха в пустой деревне, вымирающей, где остались одни старухи, которые уже и того, что могли бы, не растут, не держат, кормясь от автолавки да от наезжих рыбаков...

Но о Пасхе — позже. А главное, что и название рассказа перешибает, это подростки, молодое поколение, надежда наша, которые, верхами, гонят стадо телок, нещадно, для потехи, избивая и калеча скотину. А бабы рады и им — все-таки авось оживет деревня! И тут же ругаются при виде изувеченной, с выбитым глазом телушки, избитой так, как били, фашисты в застенках наших людей (да и то не всегда!). И это особенно страшно, ибо избивал, куражился наш, русский, новообразованный парень, итог наших новых педагогических усилий на селе (на селе, где встарь бились смертным боем, а скотину не трогали!). Так же, как рыбы берш и ротан — итог наших измывательств над природой.

Зло производит зло, и мы сами стали источником зла. И тут я только процитирую горькие строки, вздох, вернее, вопль, автора, когда рыбаки и старухи сидят за одним пасхальным столом в убранной кое-как, но все же украшенной ради праздника избе:

“Что с нами стало! Кто и за что ввел нас в пучину зла и бед! Кто погасил свет добра в нашей душе! Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не наталкивались на дерево в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем все это похитили и ничего взамен не дали, породив безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим...”

Такие слова, вырвавшиеся из души, из самого нутра, слова корневые, главные, надобно затверживать наизусть, ибо в них — вся боль наша и последняя наша надежда на спасение.

Ну и далее, позвольте еще процитировать. Портрет ухаля, едва, под конец, не загубившего... все телячье стадо:

“...Хлестанул одного, другого телка, ткнул пальцем в брюхо, и из машинки на весь вороновский край завопило: “Пр-ра-а-асти, земла-а-а, пр-расти на-фэ-эк, тебя об-бидел че-лофэк...”

— Во, бабка! — примирительно сказал волосатик, нагло тыкая себя как бы ненароком ниже пояса. — Машина времени поёт, бабка. Нашего времени, твоё отпелось.

— Это поёт? Это поёт?!

Ведя в обнимку тёлочку, всё обирая её, очищая от грязи, ощупывая

голову с набухшими рожками и давним, крестьянским опытом — по шишкам на голове, по губам и языку — определяя породистость, молочность и даже нрав будущей коровки, перечила бабка. — Орёт лихоматом, будто осенесь ево выложили...

— Выложили?! Ха-ха-ха! Го-го-го! А ну, скотина, шевели ногами! Гоп! Гоп! А то магазин закроют. Па-следний пар-ря-ад наступайит. Гуд-бай, дяханы! — И врубил кнопку. Из-под неё ещё дичее заорал кто-то бараньим голосом, волосатик умело подтянул:

— Гуд-бай, гёрлс, бойс, грениенд антс! Тил нью митингс энд партс!  
Дин ачес! Партингс!

— Это оне по-какому? — пугливым шёпотом спросила Адольфовна.

— По-бусурманскому! По-какому! А ты, ты... на других бочку не кати!  
Не кати!..

Адольфовна сделала вид, мол, никого не слышит и не видит, гладила тёлочку, наговаривала, может, и в самом деле никого не слыша и не видя.

— Бил он тебя, ирод! Бил. Научили их на свою голову! Последние крошечки собирали... В городе он рос, в городе, и заместо сердца у его кирпич, где голове быть — чигунка... Я вот те! — погрозила она кулаком вблизи гарцующему всаднику. — Мы тоже, было время, не жалели ничё, не пасли, не берегли. Полюбуйся теперя на хозяйство наше. Всё профукали, просвистели да разбазарили...

— Ак чё теперь сделаешь? Назадь не поворачишь, — вздохнула курящая старуха и вдруг с дребезгом, отчаянно завопила: — Да уж побегали

мы с факелочком! — Выплюнув сигарку в грязь, она ещё громче и решительней продолжала: — Долой церкву, опиум народа! Давай клуб! Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживём! И остались вот на кочке жить!”

Тут вот, в оценке (любой!) этой пронзительно-страшной прозы критика, мне кажется, бессильна. Тут надо попросту промолчать и устыдиться. Себя. Самих.

Тут вот предстают перед нами природа и деревня, и то, что мы с ними сделали, мы сами, мы сами, читатель! Не позабудь про себя самого!

Но мы, Союз наш, многонациональная страна, и без картины заключительной, без последнего рассказа “Ловля пескарей в Грузии”, не полон был бы, не замкнут, не завершён был бы астафьевский цикл. Ибо место действия — не мы одни, а и вся наша великая и многострадальная держава.

Рассказ “Ловля пескарей в Грузии” вызвал околослитературный шум, в коем Астафьев, как мне кажется, не виноват вовсе, ибо ничего обидного для грузин рассказ не содержит, как не содержат и два предшествующих ничего обидного для русских. Скажем здесь лишь то, что упреки того типа, что-де русскому писателю нельзя писать о грузинских делах, нелепы уже по самой постановке вопроса. Иначе надо воспретить целую науку этнографию и добрую четверть мировой литературы предать проклятию (как-де смел Шекспир порочить датчан в “Гамлете” или мавров в “Отелло”?). Не углубляясь более в проблему подметных писем, рекомендую иным грузинским товарищам прочесть все три рассказа подряд, не отрывая их друг от друга.

“Ловля пескарей в Грузии” имеет очень непростую композицию, ибо

автор тут совмещает два временных периода, и даже три, ибо краткое введение, это третье время, современное написанию, а весь рассказ написан уже в другом времени, одновременном событию, с постоянными отсылками в давно прошедшие героические века. Вместе с тем и сама Грузия как бы разъята и противопоставлена одна другой: Грузия трудовая Грузии торгашеской. Но вместе с тем и вся Грузия в целом сопоставлена с её же героическим прошлым. Но мало того, весь рассказ пронизывает четвёртый ряд сопоставлений: Грузии и России, сопоставлений, опять же охватывающих и настоящее, и прошлое обеих стран. Так, кавказские ухоженные, обложенные камнем родники напоминают автору про иные родники, его родины, давно умолкнувшие. “Последний родник на окраине моего села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его жёлтый, песчаный, словно у птенца доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать...

...Уж и не поймешь, не разберешь, кто, что и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют гусеницами, утюжат бульдозерами, пластают... кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пёстренький летом, а зимой белый подол тундры; и разгромив, растерзав, бросают в хламе, в побоях, в синяках и ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглохшую некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презреньем оставленную, никому ненужную, забытую”.

Иногда подобное сложное сопоставление вмещается у Астафьева буквально в одну фразу: “...За рулем сидел и ловко, но без ухарства и удали вел машину Шалва — помнил он частые могилы по обочинам дорог, где

нашли последний приют подгулявшие “мальчики”, гоняющие машины на пределе всех скоростей и обязательно в гуще движения, изображая потомков храбрых джигитов, павших, правда, не ради пустой забавы — за свою землю павших, за детей и матерей, за свой народ”.

Обращаясь к началу рассказа, напомним портрет рыбака Кеши из “Светопреставления” и низкозадых баб из второго рассказа, у которых “ягодицы при ходьбе ударяют по пяткам”, — чтобы напомнить про особый астафьевский метод заострения образа, тогда уместен становится и кобылий зад раскормленной поэтессы, почти погруженный в тарелку со щами, меж тем как его владелица ведет высокопарную беседу с молодым кинорежиссером. Ну, и заодно напомним всем известный доклад Г. И. Литвиновой о диспропорциях в распределении бюджетных благ между нашими республиками, при котором Россия получает меньше всех. Тогда понятен будет и постоянный феномен помещения известного русского писателя, “упорно надеющегося пронять современное общество покладистостью характера, смирением и неприхотливостью нрава”, в номер супротив писательского сортира. (Я и сам, дважды побывши в Переделкине и тоже поняв, что работать там мне именно нельзя никак, могу удостоверить тут полную, даже не сатирическую правдивость астафьевского описания сих творческих заведений).

Ну, а далее разворачивается грузинский аналог нашей русской действительности. Герой, сван Отар, друг Астафьева, показанный также ярко и чуть-чуть шаржированно, как и все в этих рассказах, стремится показать автору ту Грузию, которую любит и знает сам: “Хочу, чтобы ты увидел Грузыя нэ в кино, грузын нэ на базаре...”

Так вот, с этой фразы и начинается то, второе расслоение, о котором я сказал вначале. Лакировочные курортные города, где можно купить, как

говорит Отар, “Машину, лекарства, самолет, автомат Калашникова, золотые зубы, диплом отличника русской школы и Московского университета, не знающего ни слова по-русски, да и по-грузински тоже”. И за ними — невиданную сперва, незримую за цепью модных курортов, иную, трудовую Грузию, где иное все: дороги, скот, урожай, дома, даже и гостеприимство, сердечное гостеприимство труженика — иное. И мы видим ее, эту Грузию, вслед за автором, не скрывающим ничего: ни бытовых пережитков, ни столь же отвратительных, как и на Руси, “водоемов” нового времени... Видим и начинаем понимать и любить. И даже то, как два свана зажигаются ловлею пескарей и раков — рыбак Астафьев не упустил и тут своего “рыбацкого” угла зрения, — замечательно объединяет и сближает в этой непосредственности рыбацкого азарта представителей двух наций нашей страны, объединенных не только настоящим, но и прошлым, сходною верой и сходной исторической судьбой.

И потому — Гелати. Как задержанный воздух. Как вечность. И слова тут Астафьев находит неожиданные, высокие слова, словно бы и не свойственные ему: “Вокруг городища и оно само, — все-все почти истлело, обратилось белым и серым прахом, и только храм, как бы отстраненный от времени и суеты мирской, стоял невредимый среди гор, отчужденно и молчаливо внимая слышным лишь ему молениям земным и звуку горных, глазу недоступных пространств”.

Замечательно связывает тут оба наших народа воспоминание о нашествии монголов, одинаково тяжком для той и другой страны. Разрушенные города Руси и разоренный кочевниками храм в Гелати — вот еще с каких времен суждены были нам сходная судьба и единый исторический путь!

И не будем придирааться к легенде, которую Астафьев пересказал, не

дав ей критического осмысления. Легенда многое поиначивает и сгущает. Разведя костер в храме, монголы не могли бы одновременно устроить там и конюшню, кони не выдержали бы дыма и огня. А на конских глазах нельзя убивать и обдирать лошадей на мясо. К тому же монголы обычно щадили храмы, не подвергая их разрушению, как в Грузии, так и на Руси. Видимо, реально было лишь то, что группа воинов расположилась в пустой церкви, даже не ведая толком о её назначении, а когда стал капать расплавленный свинец — поняла это как месть божества и бежала, побросав добычу и полон. Впрочем, об этом и повествует легенда. Не будем придирааться к подобным мелочам, неизбежным, когда путник находится в чужой стране, естественно не ведая всего и не зная всего, что мог бы узнать и установить ученый исследователь.

Да! И торговля грузинская на наших базарах — гадка. И, увы, администрация писательского дома ничуть не менее гадка, чем у нас в Переделкине. И вот тут воспоминанием (после Гелати!) вскрывается еще одно, прибереженное Астафьевым под конец. Оказывается, что те, кто наработывает на эту грузинскую торговлю, ничего не видят, не получают с нее. Получает торгаш и деляга, который, догнав свой годовой доход до 60-100 тысяч чистоганом, не стесняется накричать на вымотанного работой отца за то, что тот не выключил свет в уборной, и для дочери своей, к ее брачному торжеству, мечтающий скопить миллион, но не подарить ей переписанную поэму Руставели, как это было принято в древности!

Беда общая. И сообща надо из нее вылезать. И место действия — общее. Вся наша страна, Союз Советских Социалистических республик. Мыслью, что и грузинские писатели (из той, второй, трудовой Грузии, где зачастую человек спускается с гор с пучком зелени, чтобы просто побыть с людьми, узнать новости на базаре, ощутить радость общения и, без сожаления бросая потом эту непроданную зелень ближайшей корове,

отправляется опять в горы, где ждет его тяжкий непрерывный труд), писатели эти сумеют прочесть в астафьевском рассказе и уважение к своей стране, и ощутить братство наших культур, и общую боль и беду, которая много страшнее, как показывает Астафьев, чем какие-то неправильности и просчеты в планировании.

Беда коренится в искажении, порче самого человека, проказе, разъедающей душу нации, а потому тут уже надобно задуматься всерьез и не просто задуматься, а и приступить к немедленному действию. Нам всем. К действию по возрождению нашего гуманизма, и не только нашего, но и общего, присущего труженику любого народа, по возрождению истины труда на земле.

И тогда, думаю, исчезнут “моря” и “плотины”, весь смысл которых — гибель нашей родины, поутихнет химия, уползут в свои норы мелиораторы, будут размонтированы взрывоопасные станции, рентабельность которых более чем сомнительна; и люди поймут, что природу нельзя обмануть, нельзя с нее “брать”, ничего не давая взамен, и что есть нечто, превыше сиюминутной подлой и мнимой выгоды, есть категории, о которых забыли, такие, как любовь, как труд и как вечность. О чем вновь напомнил нам замечательный русский писатель Виктор Астафьев своими внешне немудрёными и вроде бы даже веселыми рассказами...

1986 г.

Опубликовано в журнале «Новое и старое» N 6

© Содержание — «Енисейский благовест», 2001-2002